

В. Н. ЗАХАРОВ

О ХРИСТИАНСКОМ ЗНАЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ИДЕИ ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО

Общим местом в исследованиях о Достоевском давно стали рассуждения об амбиции и идее «восстановления» как основной проблеме и главной идее его творчества, но, как и все общие места, они не всегда точны.

Проблема амбиции — сугубо гоголевская тема, развитая им в петербургских повестях, и досталась она Достоевскому по наследству. Именно Гоголь открыл русскому читателю Петербург мелких ремесленников, честолюбивых художников и фантастических чиновников, которые напроць лишены чувства собственного достоинства, в них нет самоуважения, им важнее казаться, чем быть, и его ужаснуло искажение и опошление человека, «адская» подмена людей — их лица и их души заместили внешние атрибуты: маска, деньги, успех, чин и даже шинель. Его петербургские Шиллер и Гофман оказываются не «теми» Шиллером и Гофманом, а глуповатым жестянщиком и недалеким сапожником, прекрасная незнакомка Пискарева — продажной женщиной, высеченный Шиллером, Гофманом и Кунцем поручик Пирогов через несколько часов вдохновенно станцевал мазурку, чем обольстил не только дам, но и кавалеров. Променивший свой дар на деньги и суетную славу художник Чартков стал безжалостным губителем чужих шедевров. Коллежский ассесор Ковалев выдавал себя за майора, что хотя и было по табели о рангах почти одно и то же, но воинский чин считался важнее штатского и переименование было строжайше запрещено еще Петром Первым, — Ковалев заносился, задира л нос, так что не случайно его нос объявился чином тремя рангами выше: назвался не майором, а статским советником. Задумавшись над неожиданным вопросом: «Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» — Поприщин сознает

себя не тем, за кого его принимают, и его отречение от своего я рождает безумную идею: «В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я». Несколько особняком среди этих героев стоит униженный Акакий Акакиевич Башмачкин, чье скромное желание «быть как все» переосмыслиется автором в гуманную идею «быть человеком среди людей».

В одном из фельетонов «Петербургской летописи» Достоевский так ставил эту «гоголевскую» проблему амбиции. В своих рассуждениях он исходил из идеального состояния души человека, когда «все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадет случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших склонностей и способностей» (18; 30—31)¹. Современная жизнь не соответствует этому идеальному состоянию и тогда возникает проблема: «Коль неудовлетворен человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что лучше в нем (не из самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое Я в действительной жизни), то сейчас же и впадет он в какое-нибудь самое невероятное событие; то, с позволения сказать, сопьется, то пустится в картеж и шулерство, то в бретерство, то, наконец, с ума сойдет от амбиции, в то же самое время презирая амбицию и даже страдая тем, что пришлось страдать из-за таких пустяков, как амбиция. И смотришь — невольно дойдешь до заключения почти несправедливого, даже обидного, но очень кажущегося вероятным, что в нас мало сознания собственного достоинства; что в нас мало необходимого эгоизма и что мы, наконец, не привыкли делать доброе дело без всякой награды» (18; 31—32). Эти и другие приключения от амбиции стали предметом художественного анализа в произведениях Достоевского — в его романах, повестях и рассказах.

¹) Здесь и далее в других статьях все цитаты из сочинений Ф. М. Достоевского даются, кроме особо оговоренных случаев, по Полному собранию сочинений в 30-ти томах, Л., «Наука», 1971—1989 гг., с указанием в скобках тома(и, если нужно, соответствующей книги тома), а затем, через точку с запятой, страницы. Во всех цитатах разрядкой даны слова, выделенные автором цитаты, черным шрифтом — выделенные автором статьи.

Современные словари представляют слово «амбиция» с желестной рекомендацией. В таком отношении к этому понятию угадываются издержки не только нашего недавнего коллективистского, но и давнего общинного сознания, хотя, например, в XIX веке у слова «амбиция» в русском языке был не только отрицательный, но и положительный смысл, который отмечен в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля: «чувство чести, благородства», а лишь потом: «самолюбие, спесь, чванство, требование внешних знаков уважения, почета»². Одобрительно оценивалось то, что определяло внутреннее состояние души — неброское достоинство человека, и осуждалась претензия на внешние атрибуты уважения, что воспринималось как отсутствие в человеке самоуважения.

Эта патетическая и сатирическая двойственность слова достаточно полно отразилась и в языке, и в литературе, но критика раскрыла по преимуществу отрицательное значение слова.

Вот характерный и, можно сказать, хрестоматийный пассаж из статьи В. Г. Белинского о «Петербургском сборнике, изданном Н. А. Некрасовым», в котором господин Голядкин представлен как «один из тех обидчивых, помешанных на амбиции людей, которые так часто встречаются в низших и средних слоях нашего общества. Ему все кажется, что его обижают и словами, и взглядами, и жестами, что против него всюду составляются интриги, ведутся подкопы». Взгляд Белинского на Голядкина дан как бы со стороны — с точки зрения несправедливой среды: «Это тем смешнее, что он ни состоянием, ни чином, ни умом, ни способностями решительно не может ни в ком возбудить к себе зависти. Он не умен и не глуп, не богат и не беден, очень добр и до слабости мягок характером; и жить ему на свете было бы совсем недурно; но болезненная обидчивость и подозрительность его характера есть черный демон его жизни, которому суждено сделать ад из его существования»³. С этой точки зрения Голядкин смешон, как будто для того, чтобы быть достойным уважения, нужно иметь состояние, чин, место, ум и способности. Белинский принимает следствие («болезненную обидчивость и подозрительность») за причину: ему кажется, не будь их

² Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1. С. 14.

³ Белинский В. Г. Собрание сочинений. М., 1982. Т. 8. С. 140.

— Голядкину было бы «недурно» жить. Для Достоевского, напротив, Голядкин достоин уважения не своими заслугами, а тем, что он — человек, и только.

Именно такая положительная трактовка амбиции увлекала художественный гений Пушкина, Гоголя, Достоевского, для которых это слово выражало одну из основных идей человеческой цивилизации. В их понимании «амбиция» — право человека быть самим собой, каким его создала природа, воспитали семья и общество, чтобы уважали его не за происхождение, социальное положение, деньги, чин, звание, а за то, что он просто человек, другой человек со своим взглядом на мир, и достоин он уважения именно за свою самобытность. Об этом много писали в XVIII и в XIX веке, но лучше и полнее эту мысль выразил Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Из Пиндемонти»:

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права...⁴

Сейчас мы называем это «правами человека» — правами свободно жить, мыслить, чувствовать, любить, путешествовать, пытливо узнавать, делать, творить.

Впрочем, у Пушкина был свой эквивалент заимствованному и не совсем ясному в русском языке слову «амбиция» — он не только придумал новое слово *самостояние*, ввел его в русский язык и в мир русской жизни, но и лаконично выразил историческую идею, изреченную этим словом: «Самостоянье человека — залог величия его»⁵. Нечто близкое по духу примерно в то же время было сформулировано Ральфом Эмерсоном и стало одной из основополагающих идей американской цивилизации — его известный принцип «доверяй себе».

В пушкинской идее «самостоянья человека» гармонично и совершенно выражен универсальный смысл бытия.

⁴ Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Л., 1977. Т. 3. С. 336.

⁵ Ср.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 3. С. 425.

Достоевский в полной мере разделял это откровение Пушкина, но в своей оригинальной художественной трактовке: пушкинская идея жизни человека стала главной идеей творчества Достоевского, которая приобрела характерную определенность после известного «перерождения убеждений» на каторге.

Традиционно эту идею излагают в словах самого писателя как идею «восстановления». Она раскрыта в его отзыве о «Соборе парижской Богоматери» В. Гюго, который, по словам Достоевского, был «чуть ли не первым провозвестником» основной мысли всего искусства девятнадцатого века, «она не есть изобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия» (20; 28, 29). Как сказано Достоевским: «Эта мысль христианская и высоконравственная; формула ее — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» (20; 28).

В традиционном изложении идеи «восстановления», как определил ее Достоевский, исследователи выделяют чаще всего социальный аспект, тем более что он представлен самим писателем, но при этом не обращают внимания на духовный и этический смысл этой идеи, который выражен в двух ключевых эпитетах — «мысль христианская и высоконравственная». Не менее определенно взгляд на В. Гюго как на выдающегося христианского поэта высказан в юношеских письмах Достоевского. В письме от 31 октября 1838 г. он просил брата Михаила: «Да! Напиши мне главную мысль Шатобриана сочиненья «Génie du Christianisme». — Недавно в «Сыне Отечества» я читал статью критика Низара о Victor'e Hugo. О, как низко стоит он во мнении французов (...). Они несправедливы к нему, и Низар (хоть и умный человек), а врет» (28; 1; 55). Чуть более года позже этот контекст раскрыт в другом письме брату: «что же касается до Гомера и Victor'a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (баснословный человек, может быть как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него, брат, пойми «Илиаду», прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее? признайся). Вель в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и

земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому. Теперь поймешь ли меня? Victor Hugo как лирик чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, я читал его сонеты на французском, ни Байрон, ни Пушкин. Только Гомер с такою же непоколебимой уверенностью в призвании, с младенческим верованием в бога поэзии, которому служит он, похож в направленье источника поэзии на Victor'a Hugo, но только в направленье, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это. Державин, кажется, может стоять выше их обоих в лирике» (28, 1; 69—70).

Все это показывает неслучайность понимания Достоевским В. Гюго как христианского поэта, понимания поэзии как провозвестника христианства, осознания своего призвания и призвания других гениев как служения основной идее литературы девятнадцатого века — «мысли христианской и высоко нравственной». При всей родственности этой «основной мысли всего искусства девятнадцатого века» характеру русской литературы Достоевский обогатил свою идею творчества личным духовным опытом «перерождения убеждений», духовным преображением на каторге.

Идея преображения, как и сам праздник Преображения Господня, — одна из глубоких идей христианства. Как некогда преобразился Христос, открыв свое божественное призвание, так и каждый, признавший искупительный путь Христа, может изменить свой образ, осознать свою божественную и человеческую сущность.

На каторге Достоевскому открылся спасительный смысл христианства. Исключительную роль в «перерождении убеждений» сыграло подаренное в Тобольске женами декабристов Евангелие, единственная книга, которую дозволялось иметь арестантам. Значение этого Евангелия давно осознано в исследованиях о Достоевском. Об этом проникновенно писали Л. Гроссман⁶, Р. Плетнев⁷, Р. Белнап⁸, Г. Хетса⁹. Сейчас,

⁶ Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии. М.: Пг.: 1922. С. 9.

⁷ Плетнев Р. Достоевский и Евангелие//Путь. 1930. № 23. С. 48—68; № 24. С. 58—86.

⁸ Belknap R. L. The Genesis of The Brothers Karamazov, Northwestern University Press, 1990, P. 19—22.

⁹ Kjetsaa G. Dostoevsky and His New Testament. Oslo, 1984, P. 5—17.

благодаря книге Г. Хетса, есть научное описание этого Евангелия, которое Достоевский не только читал, но и работал над ним всю свою жизнь. Вряд ли кто из мировых гениев знал Евангелие так, как Достоевский, а был он, по выразительному заключению А. Бема, «гениальным читателем»¹⁰. Примечательно, что итогом десятилетних, в том числе и каторжных обдумываний стала сочиненная, но ненаписанная статья «о назначении христианства в искусстве», о которой он написал в Страстную пятницу 1856 года барону А. Е. Врангелю: «Всю ее до последнего слова я обдумал еще в Омске. Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь. Может быть, во многом со мной будут не согласны многие. Но я в свои идеи верю и того доволен. Статью хочу просить прочесть предварительно Ап. Майкова. В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета. Это собственно о назначении христианства в искусстве. Только дело в том, где ее поместить?» (28, 1; 229). Статья осталась ненаписанной — негде было поместить, но взгляд Достоевского на эту тему выражен во всем последующем творчестве. Это та «искренняя, естественная и христианская» точка зрения¹¹, которая нравилась в творчестве Достоевского Л. Толстому.

Евангелие было для Достоевского действительно «Благой вестью», давним откровением о человеке, мире и правде Христа. Из этой книги Достоевский черпал духовные силы в Мертвом Доме, по ней он выучил читать и писать по-русски дагестанского татарина Алея, который признался ему на прощание, что он сделал его из каторжника человеком. Эта книга стала главной в библиотеке Достоевского. Он никогда не расставался с ней и брал с собой в дорогу. Она всегда лежала у него на виду на письменном столе. По ней он поверял свои сомнения, загадывал свою судьбу и судьбы своих героев, желая, как и гадавший по «старой Библии» герой поэмы Н. Огарева «Тюрьма»,

Чтоб вышли мне по воле рока —
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка¹².

По отношению к Достоевскому можно уточнить: христианского пророка нашего времени.

¹⁰ Бем А. Достоевский — гениальный читатель // О Достоевском. Прага, 1933. Т. II. С. 7—24.

¹¹ Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 томах. М., 1984. Т. 17. С. 876.

¹² Огарев Н. П. Избранные произведения. М., 1956. Т. 2. С. 212.

По выходе из каторги, Достоевский так раскрыл свой «символ веры»: «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной» (28, 1; 176). Это парадокс, но в его основе лежит убеждение, что истина в Христе.

«Христианская и высоконравственная мысль» получила свое полноценное воплощение в позднем творчестве Достоевского, в его романах от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых», хотя основательные подступы к этой идее были в «Бедных людях» и многих ранних повестях и романах, она безусловно выражена в «Униженных и оскорбленных» и в «Записках из Мертвого Дома», в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и в «Записках из подполья». У этой идеи творчества Достоевского было несколько этапов воплощения. Первый — сознать человека в себе, найти человека в человеке. Второй — восстановив человеческий облик, обрести свое лицо. И, наконец, — сознав божеское в себе, преобразиться, стать человеком, живущим по Христовым заповедям.

Эта идея стала «сверхидеей» творчества Достоевского — идеей христианского преображения человека, России, мира. И это путь Раскольникова, Сони Мармеладовой, князя Мышкина, хроникера в «Бесах», Аркадия Долгорукого, старца Зосимы, Алеши и Мити Карамазовых. Их путь прошел через исповедь к покаянию и искуплению, обретению вечной истины и вековечного идеала. Это и сюжеты его поздних романов от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых». В полной мере эта идея нашла свое воплощение в концепции «Дневника писателя». Известны слова из записных тетрадей к «Подростку», и многие их комментировали: «Болконский исправился при виде того, как отрезали ногу у Анатоля, и мы все плакали над этим исправлением, но настоящий подпольный не исправился бы» (16; 330). Это страшные слова автора, гордившегося: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого!

Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна» (16; 329). Не оставляющие надежды, они звучат как смертный приговор этому характерному типу и в жизни, и в литературе. На первый взгляд, эти слова противоречат замыслу, «подпольной идее» и «канве романа», который был задуман Достоевским в январе 1869 года во Флоренции и над которым он работал вплоть до декабря 1870 года. Он известен под разными названиями, но чаще всего как «Житие великого грешника». В задуманном романе исправился не только подпольный герой, но и «великий грешник». Для того, чтобы исправился «великий грешник», необходимо было встать на искупительный путь: герой ненаписанного романа, вопреки неверию в Бога «уставляется, наконец, на Христе» (9; 128), «кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится. Все яснее. Умирает, признаваясь в преступлении» (9; 139).

Противоречие между декларациями из черновиков «Подростка» и «Житием великого грешника» мнимое. Трагедия «подполья» — трагедия безверия, и прежде всего, неверия в Бога и Христа. Подполье — антихристианское состояние героя. Чтобы преодолеть подполье, необходимо обратиться к Богу и Христу, и тогда «великий грешник» может не только преобразиться, но и стать святым. Сказанное о несправивности подпольного человека верно по отношению ко многим героям Достоевского, таким, как неблагообразный парадоксалист из «Записок из подполья», Свидригайлов из «Преступления и наказания», Лебедев и Ипполит Терентьев из «Идиота», Ставрогин и Кириллов из «Бесов», Версилов и младший князь Сокольский из «Подростка», великий инквизитор и Иван Карамазов из «Братьев Карамазовых». Но нельзя возводить частные случаи в общее правило. Высший принцип может отменить множество частных и общих.

Таким высшим нравственным принципом давно стало христианство. Кстати, одно из названий задуманного «жития» — «Атеизм». Из этого неосуществленного замысла, как известно, проросли идеи трех последних романов Достоевского: «Бесы» (о непощении непростимого преступника), «Подросток» (о становлении юноши) и грандиозные «Братья Карамазовы».

Пушкинской идее «самостояния» человека Достоевский придал христианский смысл, и в этом вечная актуальность его творчества.